
ВЕК ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

В. К. КОЛОМИЕЦ

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Концепт развития, рассматриваемый в социально-историческом контексте, представляется основополагающей категорией исторического познания. Социальная реальность в своем историческом развитии проходит через различные временные состояния – прошлое, настоящее и будущее (последнее – в той мере, насколько оно может быть на данный момент прозреваемым). Иными словами, развитие является ее (социальной реальности) неотъемлемым свойством. Связи между историческими временами, особенно с наступлением эпохи глобализации, как и ее антипода в лице деглобализации, претерпевают изменения, видимо ослабляясь, но отнюдь не утрачиваются полностью. Столь же заметны перемены в пространственной ориентации общества, связанные с делокализацией больших людских масс, но и это не отменяет значимости пространственного подхода к анализу социальной реальности.

***Ключевые слова:** развитие, историческое развитие, глобализация, деглобализация, преемственные связи, традиции, политическая культура.*

Развитие как свойство социальной реальности и как социальный концепт – способ ее отображения, фиксации и репрезентации в общественном сознании – занимало общественную мысль во все исторические времена, а в Новейшее время, началом которого традиционно принято считать первые десятилетия XX в., – в особенности. Именно тогда или даже несколько ранее – на Европейском континенте это произошло на рубеже XIX и XX вв., в эпоху второй промышленной революции и утверждения массового общества – были заданы темпы индустриального роста и общественного развития, дотоле невиданные даже по меркам Западной Европы, само-

го развитого на ту пору региона мира. А на своем исходе только что минувший XX век подтвердил изначально закрепленную за ним историческую репутацию эпохи бурного развития – великих перемен и потрясений, которые в итоге обернулись отрицанием его же собственных устоев. Последние десятилетия XX в. вошли в историю как время упадка идеологий, утопий и антиутопий, краха систем геополитического равновесия, еще совсем недавно казавшихся незыблемыми, радикальных преобразований в общественном устройстве, смены традиционных моделей общественного, а значит, и политического развития. Как справедливо отмечал итальянский философ Сальваторе Века, исходя прежде всего из исключительно богатого, незаурядного и неординарного исторического опыта развития собственной страны, «все XX столетие пронизано синдромом помешательства на обновлении, разрывом связей с традициями прошлого, странствием по неизведанным морям...» (цит. по: Di Caro 1985: 169).

Разительность этих перемен, как и их последствий, даже в пределах истории Новейшего времени и на протяжении считанных десятилетий, – к примеру, от первых послевоенных лет до середины 1980-х гг., – обладает всеми признаками самоочевидности, хотя острее и драматичнее всего переживается старшими поколениями, всегда более, чем другие, склонными к сопоставлениям исторических времен. Это состояние умов, по-видимому, отнюдь не исключительное свойство современности. Оно – скорее всего, типичная реакция на любое историческое время, отмеченное печатью переходности, являющее собой все признаки межвременья. «Буквально на наших глазах, – в каком-то смятении признавала итальянская писательница Наталия Гинцбург, в те же 1980-е гг. – депутат парламента Италии от Независимой левой партии, – мир в своем стремительном изменении сделался неузнаваемым» (Ginzburg 1986: 1). Современные аналитики все чаще склоняются именно к такому, несколько гиперболизированному видению процессов развития, обновления и перемен, давно ставших почти самоцелью, исступленно, чуть ли не на грани социальной аномалии, а то и патологии, преследуемой современным обществом и отдельным человеком, но сплошь и рядом несколько не оправданной реальными потребностями усовершенствования общественных отношений. Стремления

тельность нынешнего процесса развития иной раз даже вызывает мысли, на первый взгляд парадоксальные и едва ли не еретические, чуть ли не о необходимости его замедления (Amato 2002: 3–25).

Об этом типе форсированного развития, заданном и утвержденном в XX в., уместно вспомнить сегодня, по завершении второго десятилетия XXI в., поскольку новый век, к тому же открывший новое тысячелетие, сполна и уверенно воспринял эстафету своего предшественника (Аксенова, Халий 2018: 13–26). Развитие, существенным фактором которого стало широчайшее внедрение цифровых технологий, пошло еще более форсированными, импульсивными темпами, все сильнее отклоняясь от его уже известных исторических сценариев, становясь от этого все менее предсказуемым. Одним из ближайших последствий этого стало видимое ослабление преемственных связей прежде всего на том отрезке временной дистанции, который пролегает между прошлым и настоящим. Ослабевающая преемственность сказывается и на том объеме информации о прошлом, который реально потребляется обществом, причем, естественно, в сторону уменьшения, что имеет своим неминуемым следствием заметное сужение пределов достопамятного, то есть знания о прошлом, признаваемого ценным и значимым для современности, а потому и сохраняемого в исторической памяти.

«Это упадок великих идеологий, великих утопий, – делал вывод на рубеже столетий итальянский историк и журналист, авторитетный лидер общественного мнения Джорджо Бокка, – это дух перемен, господствующий в социальной, экономической, повседневной жизни, который, по всей видимости, делает невозможным любое четкое представление о прошлом, любое точное соотнесение настоящего с прошлым» (Восса 1998: 7). Его соотечественник, историк права Альдо Скьявоне, сетовал на то, что «сегодняшний день настолько сложен, что не позволяет свести воедино настоящее и прошлое. Современный человек втянут в круговорот событий, сужающую горизонты его восприятия, он не в состоянии определить для себя единой всеохватывающей перспективы» (цит. по: Minetti 1988: 155).

Этот примечательный феномен ослабления преемственных связей между историческими временами, впрочем, не только между

прошлым и настоящим, но и между настоящим и будущим, был отмечен еще в 1980-е гг., сравнительно стабильные и благополучные, еще никоим образом не предвещавшие тех глобальных тектонических сдвигов, причем по большей части катастрофических, которым только предстояло вскоре свершиться, будь то падение Берлинской стены, демонтаж мировой социалистической системы, ужесточение глобальной взаимообусловленности мира, повсеместное вторжение цифровых технологий (Santarelli 1997: 251–315). Об этом феномене с горькой ностальгией по прежним временам еще доиндустриального общества, подвластным, в отличие от новейших авторитетов, влиянию, а порой даже и диктату прошлого, писал итальянский историк Пьеро Бевилаккуа: «Быть может, более никакое общество, дотоле существовавшее, не переживало столь быстрого снижения влияния своих вековых, долговременных факторов развития на собственное настоящее и будущее. Мощь тех средств, которые в индустриальных обществах работают на перемены, постоянный и радикальный слом многих прежних систем равновесия (социальных, демографических, связанных с окружающей средой и т. д.) достигли такого уровня, что порождают убеждение, будто бы никакой “пережиток” прошлого или след этого прошлого уже не являются моментом, обуславливающим любое действие сегодняшнего дня или вектор этого действия» (Bevilacqua 1982: 218).

С той же ностальгией по временам минувшим высказывался и другой итальянский историк, Лучано Канфора: «Очень многое из того, что нас окружало, рухнуло. ...Вплоть до совсем недавнего времени существовали всеяющие уверенность идеологические границы, с которыми подобало соотносить любые представления. Сегодня такого уже нет, границ более не существует, они перестали быть чем-то вроде опоры в интеллектуальном и общекультурном плане. Более того, я бы сказал, что идеологическая основа отринута раз и навсегда» (цит. по: Cotroneo 1987: 117). Прошлое, таким образом, все более утрачивает свое значение как мера жизни общества и человека, девальвируя ценность и самого себя, и, как следствие, любой исторической рефлексии, порождая, пусть на короткое время, разного рода иллюзорные заблуждения типа концепции «конца истории», получившей хождение на рубеже тысячелетий в

западной политической аналитике и нашедшей некоторый отклик в отечественном общественном сознании. Оговоримся, однако, еще раз, что в своем нынешнем отчуждении от прошлого, в его самом настоящем третировании современная социальная реальность, хотя и развивающаяся невиданными темпами, ничуть не оригинальна.

Давно и хрестоматийно известны размышления времен второй промышленной революции XIX в., например, о пережитках прошлого, воплотившиеся в расхожие метафорические формулы, в крылатые выражения, по сути своей сводящие это прошлое к тем остаточным реликтивно-архаическим явлениям, которые только и служат преградой для передового развития, всячески ему препятствуя. Прошлое, иными словами, имеет заведомо негативную коннотацию, изначально наделяется пагубно-уничжительными свойствами, что запечатлено, в частности, в чеканных формулировках классических текстов марксистского историзма. По его логике, выраженной в традициях всех прошедших поколений, оно тяготеет, как кошмар, над умами живых. Оно же – как тот самый мертвый, который, по известной французской поговорке, хватается живого, – и потому с ним, проникаясь идеей его несостоятельности, человечество должно расставаться весело.

Отнюдь не в пользу прошлого и истории как таковой, которой оно подведомственно, срабатывает и сама концептуальная формула этого форсированного, импульсивного развития, базировавшаяся на непреложном в конце XX в. факте усиления глобальной взаимозависимости мира, столь характерной и неотвратимой для постиндустриального и информационного общества. Благодаря мощному медийному сопровождению она обосновывала идею глобализации общественных отношений (и предшествовавшую ей идею мондиализации – сам этот термин не прижился и сейчас уже почти выведен из политического, научного и медийного оборота). Глобализация в своем исчерпывающем воплощении и в соответствии с самыми смелыми и оптимистическими прогнозами должна была осуществиться в ближайшей перспективе и привести к тотальной гомогенизации и универсализации общества. Стало быть, у новой глобализированной социальной реальности уже и не могло быть никакой надобности в прошлом с его многообразием форм общественной жизни, равно как и в преемственных связях с ним.

Одержимо прокламируемая оригинальность идеи глобализации в ее самом агрессивном варианте была между тем весьма относительной, поскольку в том же Новом и Новейшем времени, отмеченном экспансиями великих политических религий, можно обнаружить и более ранние проекты и попытки осуществления глобального, глобалистского и антиглобалистского переустройства общественных отношений. Порождением же XX в. стало подлинно глобальное по своим масштабам и последствиям воплощение на почве Российской мировой державы (в той мере, в какой это оказалось возможным) идей и концепций мировой революции. Истоки этих идей и концепций восходят к принципам всемирности эпохи Просвещения и международной солидарности трудящихся времен второй промышленной революции XIX в.

Сопоставимую с мировой революцией глобальность замыслов заключали в себе ее антиподы-антиутопии: «опередивший свое время» и недооцененный современниками вильсонизм (эта идеология и некоторые другие идеи В. Вильсона не забыты и живы по сей день, причем сегодня зачастую в риторике политических антиподов как консервативного [Д. Трамп], так и либерального толка), а затем и, в противоположность ему, фашизм (нацизм, национал-социализм), – отстаивавшие, каждый на собственный лад, перспективу унифицированно-целостной структуры нового миропорядка (Коломиец 1994).

Категорично заявленная – в версии глобализма – формула глобализации вызвала ответную реакцию в форме антиглобалистских движений (Bascetta *et al.* 2001; Fonio 2004: 211–239). В наши дни глобализация предстает, однако, в более смягченном и гораздо менее запелляционном виде, признающем в качестве обоснованного и правомерного политический выбор многих стран: «ответственный национализм», или приоритет национальных интересов над космополитическими» (Кондратьев 2018: 5). Более того, в новейшей политической аналитике со всей очевидностью набирает силу концепт деглобализации как ближайшая и непосредственная перспектива современного развития, являющего собой движение вспять и полную противоположность оттесняемой в небытие глобализации.

Вместе с тем пресловутый «кризис прошлого» эпохи глобализации или идущей ей на смену деглобализации, в каких бы острых формах он о себе ни заявлял, отнюдь не отменяет потребности в системном усложнении современного общества, в дальнейшем развитии информационных технологий, обеспечивающих оперативный доступ не только к текущей, но и к долговременной информации, хранимой и вмещаемой исторической памятью. Именно в этом – существо долговременных тенденций процесса развития, это есть условие нормального функционирования любой социальной реальности, есть общезначимый, не подлежащий сомнению принцип. В противном случае – при отсутствии такой информации, сбоях и нарушениях в ее подаче – связь времен, обеспечиваемая и питаемая ею, была бы нарушена. И тогда процесс развития неминуемо распался бы на бесчисленное множество дискретных составляющих, совершенно бессвязных и обособленных друг от друга (Барг 1987: 5; Лисовский 1979: 3–4).

Более того, общество, переживающее состояние выраженной переходности, всей силой своих исторических обстоятельств одержимое идеями обновления, неминуемо устремленное в будущее, неизбежно оказывается (как это имеет место в эпохи великих общественных разломов) перед необходимостью ретроспекции – осмысления собственного прошлого, соотнесения с ним своего настоящего и проектов прозреваемого будущего. Уже в самом предчувствии ускорения темпов развития социальной реальности, грозящего глобальными катаклизмами, общественная мысль проявляла заметный интерес к этой области исторического познания, к концептуализации связи исторических времен. Развитие или историческое развитие – устойчивое словосочетание, которое чаще всего применимо к анализу социальной материи и социальной реальности как ее разновидности, – предполагает пребывание последней во всех трех модусах исторического времени: прошлом, настоящем и будущем.

Временные параметры развития – это нечто хрестоматийно признанное: «Структура объекта в исходном и результирующем пунктах развития суть определенные состояния развивающегося объекта, ограниченные во времени, т. е. исторические состояния. Стало быть, процесс развития, взятый с точки зрения его механиз-

ма в целом, есть ряд исторических состояний объекта в их переходах от одного к другому, от предшествующего к последующему. Это означает, что развитие протекает во времени» (Грушин 2010: 397). Иными словами, концепт развития недвусмысленно подразумевает историчность социальной реальности. Столь же историчным является сопредельный ему и репрезентирующий его концепт исторического сознания, который, в свою очередь, «концептуализирует связь между всеми тремя модальностями времени: прошедшим, настоящим и будущим» (Барг 1987: 24), ибо «только сопряжение всех модальностей времени (что возможно лишь на почве настоящего) в состоянии перевести статику воспоминания и созерцания в динамику целеполагания и предвидения» (Там же: 6).

Преемственные связи при всех их на первый и поверхностный взгляд кажущихся очевидными разрывах и нарушениях, властно диктуемых форсированно-импульсивным развитием социальной реальности эпохи глобализации/деглобализации, отнюдь не утрачивают своей значимости. Что склонны признавать даже те аналитики, которые, отдавая дань заблуждениям обыденного сознания, сплошь и рядом исповедующего незатейливый и немудрящий принцип «Life is now!», склонны преуменьшать степень воздействия исторических, долговременных факторов на жизнь современного общества. Это фиксирует, например, тот же Пьеро Бевилаккуа. Акцентируя и драматизируя факт ослабления преемственных связей и масштабность общественных перемен, произошедших в XX в., он делал между тем весьма существенную оговорку: «Самые глубокие связи с прошлым – это к тому же те, что наиболее живо и активно проявляют себя в настоящем как *данности этого настоящего*, а потому их проявления оказываются менее зримыми и очевидными» (Bevilacqua 1982: 218). Их зримость и очевидность нередко преднамеренно скрадываются историческим познанием с его инерционным предрассудком, согласно которому достоверность знания о прошлых социальных реальностях предполагает его максимальную независимость от каких-либо обусловленностей, настоятельно вменяемых настоящим, – социальной средой и господствующими политическими отношениями.

Такая форма бытования прошлого, не имеющего четких временных границ, словно бы летучего и почти неуловимого, размы-

того и растворенного в настоящем, еще с начала 1970-х гг. стала предметом устойчивого интереса отечественного прикладного общественно-научного знания, которое до поры до времени развивалось в пределах исторической науки и наук, ей сопредельных, общественных и гуманитарных, чтобы затем, спустя два десятилетия, в процессе реформирования этих научных дисциплин, произошедшего в России, конституироваться как политическая наука, или политология. Одним из первых ее концептов, введенных в научный оборот и получивших относительно широкое распространение в общественно-научном знании еще советской поры, стала политическая культура – «спрессованный в общественном сознании институциализированный и неинституциализированный исторический и социальный опыт национальной или наднациональной общности, оказывающий определяющее воздействие на формирование ценностных систем, общественных ориентаций и, в конечном итоге, на поведение индивидов, малых и больших социальных групп. ... Политическая культура – это зафиксированная в законах, обычаях, оценках и подходах к общественным явлениям “память” о прошлом, сохранившаяся в обществе в целом, а также у его отдельных элементов, в первую очередь у национальных групп (в мультинациональном обществе) и социальных слоев» (Галкин 2013: 194).

Политическая культура в таком ее понимании чрезвычайно благоприятствовала исследованию не только и не столько «деяний великих» (Gramsci 1975: 113), то есть правящих элит, элитарного сознания и поведения, сколько коллективных систем мироощущения и поведения, присущих массовым слоям общества, порожденных этим массовым обществом, уже тогда переживавшим процесс неуклонного преобразования в общество информационное. Тем самым в качестве исследовательского императива устанавливалось «предпочтение коллективному перед индивидуальным, безличным культурным процессам перед творчеством “высоколобых”, психологическому перед индивидуальным, автоматизмам перед отрефлектированным» (Ревель 1993: 57). Этот же исследовательский подход позволял, пусть хотя бы отчасти, восполнить тот весьма ощутимый урон, который современная культура понесла от последствий процесса ее деисторизации.

Кроме того, обоснованное, хотя и довольно смутное ожидание скорых и великих перемен, которым была движима наша научная мысль 1970–1980-х гг., неминуемо предопределяло постановку «вопроса о соотношении факторов преемственности и изменчивости, а следовательно, о механизмах, определяющих многовариантность развития (и тем самым его конкретных результатов), восходящего к единой причине и вызванного к жизни аналогичными импульсами» (Галкин 1983: 91), как и проблему «места и роли традиции в общественном, а значит, и в политическом процессе» (Там же).

В новые, переходные времена, при наступлении которых как никогда множится спектр альтернатив общественного развития, особенно обострился общественный интерес к осмыслению исторической преемственности, изменчивости и разрывов исторического процесса. В том числе и в той новой области знания, которая выделилась в самостоятельную субдисциплину – *ретроспективную политологию*, имеющую признаки аналога той же истории, или историописания. Такого же рода аналогом может быть признана социологическая субдисциплина, именуемая исторической социологией, которая, успешно развиваясь в последнее время, также работает на репрезентацию прошлых социальных реальностей, или на историописание (Романовский 2009; Джилардони 2012). По исполненному глубокого смысла высказыванию Розарио Ромео, одного из выдающихся знатоков истории в Италии второй половины XX в., «история – это нескончаемое “опытное поле”, предназначенное для наблюдения за действием великих альтернатив, возникших перед человеческой цивилизацией на ее пути. ...Это та сфера, в которой лучше, чем в какой-либо иной, раскрываются магистральные тенденции и направления развития человечества» (цит. по: Galasso 1974: 47–48).

В историософской концептуализации проблемы развития или исторического развития, которая заявила о себе примерно в то же время, свою несомненную ценность имеет понятие «культура». Согласно ему, в том многослойном образовании, каковым является культура общества, самый значимый элемент – это ядро, или парадигма, представляющая собой «некую устойчивую бытийственную форму сознания, относящуюся к сфере социальной онтологии» (Кантор 1992: 11). Такой подход к пониманию культуры, предпола-

гающий наличие ее особой аксиосферы, служит основой культурно-генетического метода, или метода исторически-культурной генетики, восходящего к классическому наследию марксистского историзма и его видению процесса исторического развития (Кантор 1992: 12–24).

Эпоха глобализации, как и ее антипод в лице деглобализации, также претендующий на высокий статус новой исторической эпохи, ослабили в целом весь комплекс связей между историческими временами – не только между прошлым и настоящим, но и между настоящим и будущим. Двадцатому веку, которому суждено было стать временем невиданной экспансии и расцвета, «золотым веком» великих политических религий, также выпало стать свидетелем их сокрушительного краха. Вместе с их уходом в небытие было исчерпано то телеологическое видение исторического развития, которое предусматривало жесткое целеполагание, открывавшее, в свою очередь, возможности предвидения и прогнозирования по меньшей мере прозреваемого будущего. В привычной динамике целеполагания и соответственно предвидения произошел сбой, преодоление которого не сулит и возглашенная эпоха деглобализации, обладающая пока более чем скудным набором отличительных черт и специфических признаков. Во всяком случае, ее лозунг, предусматривающий приоритет национальных интересов над космополитическими, равносителен некоему движению вспять, если не реставрации системы национальных государств, пребывающих в режиме обособленности друг от друга.

Наряду с временными параметрами изменения претерпели, причем в сторону их укрупнения, и пространственные параметры развития социальных реальностей эпохи глобализации/деглобализации. Иной стала пространственная ориентация общества: благодаря прогрессу цифровых коммуникационных технологий скрадываются даже самые протяженные географические расстояния, труднопреодолимые прежде. Государственные границы, некогда незыблемые, обнаруживают все большую условность, уязвимость и проницаемость перед лицом делекализации громадных людских масс, перемещающихся сообразно потребностям глобальной экономики в виде ширококомасштабной трудовой миграции, легальной и нелегальной, либо вследствие военных конфликтов эпохи глобализации, когда на месте государств, существовавших веками, а то и ты-

сячелетиями, образуется выжженное «дикое поле» в худших традициях самых архаичных исторических времен. Именно этот тренд обернулся для Европы тягчайшим и беспрецедентным миграционным кризисом. В то же время явление глобализации/деглобализации усилило центробежные процессы, будь то антиевропеизм или региональный национализм, угрожающие чуть ли не распадом многих привычных и выдержавших не одно испытание временем пространственных социальных реальностей.

В числе стран, принявших на себя первый удар этого кризиса и вынужденных, может быть, острее, чем другие, переживать все его тяготы, остроту которых удалось если не преодолеть, то, во всяком случае, смягчить только в последние годы, оказалась Италия. Апеннинский полуостров, на котором располагается большая часть территории современного итальянского государства, с раннеисторических времен в силу особенностей своего геополитического положения – «пограничности» между Востоком и Западом, между традиционалистской и техногенной цивилизациями – был местом пересечения массовых переселенческих потоков. Как и в других регионах мира, они, по сути дела, являли собой убедительный признак единства и целостности всемирной истории, ее, согласно традиционному понятию марксистского историзма, «всеобщности», или – уже применительно к сегодняшнему дню – ее «транснациональности» и «глобальности», определяя динамику развития и содержательные признаки взаимодействия этих двух полярных принципов цивилизационного обустройства (Ridolfi *et al.* 2018: 495–522).

Исторически эталонная национальная государственность – государство-нация с его границами, четко определенными международным правом, – уже сейчас испытывает сильную обусловленность присутствием на своей исконной территории достаточно многочисленных иммигрантских диаспор, что открывает весьма недалекую перспективу формирования некой разновидности постнационального общества. Вместе с тем пространство, неотъемлемая характеристика социальной реальности, как и историческое время, обладает свойством относительного постоянства, несмотря на воздействие глобализационных процессов и в особенности первоначальные ожидания, сплошь и рядом чрезмерные и поспешные.

Государство-нация, господствующая модель государственности в Европе, обнаружило способности к выживанию в убедительное опровержение многочисленных пессимистических прогнозов, тем более в наши дни, когда идеи «ответственного национализма», а то и деглобализации, все более заметно овладевают умами как правящих элит, так и тем более массовых слоев общества. Его неколебимость сохранилась, несмотря на мощные интеграционные процессы послевоенного времени, результатом которых стало создание единой Европы, и на то, что ее единство ставится сегодня под сомнение центробежными силами, утверждающими свое влияние на Европейском континенте и за его пределами. Но, как оказывается на поверку, это единство не могут оспорить партии и движения регионального национализма, время от времени шумно заявляющие о себе в различных европейских странах. Иными словами, пространственно-временные параметры как важные и неотъемлемые характеристики исторического развития, определяющие его модели и направления, в полной мере сохраняют свою актуальность, обладая мощным эвристическим потенциалом, применимым в этой области познания общественных явлений.

Литература

Аксенова, О. В., Халий, И. А. 2018. Современное развитие. К постановке темы исследования. *Вестник Института социологии* 24: 13–26.

Барг, М. А. 1987. *Эпохи и идеи. Становление историзма*. М.: Мысль. 348 с.

Галкин, А. А.

1983. Феномен политической культуры как фактор познания общественных движений. В: Галкин, А. А. (отв. ред.), *Рабочий класс в мировом революционном процессе*. М.: Наука. С. 90–106.

2013. *О прошлом и настоящем*. СПб.: Алетейя. 252 с.

Грушин, Б. А. 2010. Развитие. В: *Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под ред. В. С. Степина, А. А. Гусейнова, Г. Ю. Семигина и др.* М.: Мысль. Т. III. С. 397–398.

Джилардони, Г. 2012. Размышления о пользе интеграции социологии и истории. *Социологические исследования* 11: 116–123.

Кантор, К. М. 1992. *История против прогресса. Опыт культурно-исторической генетики*. М.: Наука. 152 с.

Коломиец, В. К. 1994. История Коминтерна пишется сегодня. Западные и российские историки обсуждают опыт 20–30-х годов. *Трудящиеся и социально-политическая борьба*. М.: Ин-т проблем рабочего движения и сравнительной политологии РАН. С. 25–26.

Кондратьев, В. 2018. Новый этап глобализации: особенности и перспективы. *Мировая экономика и международные отношения* 6(62): 5–17. DOI: <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2018-62-6-5-17>.

Лисовский, Ю. П. 1979. Южный вопрос и социальные конфликты в Италии. Опыт экономико-социологического исследования. М.: Наука. 373 с.

Ревель, Ж. 1993. История ментальностей: опыт обзора. В: Бессмертный, Ю. Л. (отв. ред.), *Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов»*. М.: Наука. С. 51–58.

Романовский, Н. В. 2009. *Историческая социология*. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация». 320 с.

Amato, G. 2002. *Tornare al futuro. La sinistra e il mondo che ci aspetta* (in collaborazione con F. Forquet). Roma-Bari: Laterza. 150 pp.

Bascetta, M., Caldiron, G. Gaminti, L. et al. 2001. *La sfida al G8*. Roma: Manifestolibri. 198 pp.

Bevilacqua, P. 1982. La storia tra ricerca di identità e conoscenza. Alcune riflessioni. *Laboratorio Politico* 5–6: 216–229.

Bocca, G. 1998. Alla fine scopriamo che Berlusconi è uguale a Di Pietro. *L'Espresso* 18: 7.

Cotroneo, R. 1987. Senofonte mon amour. *L'Espresso* 18: 117.

Di Caro, R. 1985. Il mistero dell'Aristotele scomparso. *L'Espresso* 21: 169.

Fonio, C. 2004. I movimenti collettivi nell'epoca della globalizzazione. I no global in Italia. *Studi di sociologia* 2: 211–239.

Galasso, G. 1974. E il passato rispose: Presente! *L'Espresso* 29: 47–48.

Ginzburg, N. 1986. Venticinque aprile. *l'Unità*. 25 aprile: 1.

Gramsci, A. 1975. *Lettere dal carcere (A cura di Sergio Caprioglio e Elsa Fubini)*. Torino: Giulio Einaudi Ed. 949 pp.

Minetti, M. G. 1988. La storia finita. *Epoca* 1987: 155.

Ridolfi, M. et al. 2018. Storie transnazionali. *Memoria e Ricerca* 3(59): 495–521.

Santarelli, E. 1997. *Storia critica della Repubblica. Italia dal 1945 al 1994*. Milano: Feltrinelli. 372 pp.